ТАТЬЯНА КОВАЛЬКОВА
Независимый журналист, переводчик

Специализируется в области культурной антропологии и литературного перевода. Автор и режиссёр социокультурных программ центрального телевидения (ВГТРК «Петербург», ТК «Культура») и периодических изданий с 1988 года.

О СВЕРХВЕСЁЛОЙ УСТУПЧИВОСТИ И НАШЕМ НЕПОБЕДИМОМ АНАХРОНИЗМЕ

Политический образ России в последнее время является предметом горячих споров и обсуждений. Расходятся оппоненты во взгляде не только на будущее России, но, для укоренения собственных позиций, и на её прошлое. То в миражном очертании она предстаёт страной рабов, то могучей империей, то страной великой культуры, то территорией, населённой вырождающейся нацией. И каждый этот миражный образ рассматривается по отдельности разномастными ораторами — представителями тех классов, которые существуют ныне после социальной стратификации 90-х годов. Представители так называемого «среднего класса» естественно для себя продвигают либеральную идею, народ (или «бюджетники», что в устах имущих звучит обречённо и осудительно одновременно) упорно держится государственной линии, какой бы она ни была, далее же группы начинают дробиться, а их интересы переплетаться — и это тема отдельного исследования. Осмелюсь утверждать, что никаких «западников» и «славянофилов» даже в самом изменённом виде более не существует. Мир стал очень маленьким: пространство сжалось, а время выбрало нелинейный маршрут.

Поэтому в предлагаемом эссе речь пойдёт о России вечной. Так назвал свою последнюю книгу Юрий Мамлеев. В ней русская культура рассматривается как наднациональное духовное послание человечеству. Причём хронотопами таковой он видит не только Толстого, Достоевского, Чайковского, но и воплощённые образы национального характера и духа. Вот именно на одной черте национального характера, персонифицированного в определённый субъект, и хотелось бы остановиться.

Как ни бесшабашно веселие «блудных сынов» Отечества нашего и как ни желанно их возвращение к отцу — не забудем и о праведных детях. О них забывают как о здоровом теле, пока есть силы, и вспоминают лишь тогда, когда силы уже на исходе и надежда остаётся лишь на чудо. В отношении России чудо заключается в том, что в девяностые годы прошлого века (как давно, однако) в земле нашей проросли не только «зубы дракона», те, что

выпали у слабеющего западного капитализма, но и какие-то свои, всеми забытые за годы советской власти семена. Семена эти проросли в относительной тишине, подальше от глобального дележа, дали заметные всем плоды, обнаружив тем самым существование гражданской инициативы, что в России всегда равнозначно подвигу. Чтобы понять этот феномен, важно определиться с главными понятиями.

Будем исходить не из теоретических (а по сути схоластических) определений, которые в бесчисленном множестве производят институты политологии, а только из практики жизни. Итак, первое и наиглавнейшее понятие: кто есть гражданин Отечества? Понятие это сильно эволюционировало в русской ментальности (а значит, и в языке) за последние двести лет. Во времена, когда все жители России ещё были подданными монарха, гражданином (горожанином) назывался просто городской обыватель. За простотой такого определения стояла размеренная, чинно-последовательная жизнь, которую и до сих пор можно найти в русской провинции. Подальше от двух столиц сохранился в исконном смысле русский гражданин, продолжая жить жизнью самодостаточной, полнокровной, полной достоинства. Февральская революция привнесла новый, европейский смысл в это понятие. Нельзя сказать, чтобы в этом самом европейском значении слово «гражданин» было неизвестно русской публике. Однако именно публике оно и было известно, но не народу. За гражданские свободы, отмену крепостного права боролись аристократия (странность этого обстоятельства была отмечена ещё шестидесятниками) и интеллигенция. Эта борьба больше походила на очередную барскую забаву, что смутило в своё время Ф. М. Достоевского, который, будучи редактором журнала «Гражданин», изнутри ощутил холодок игры, некой необязательности всей затеи князя Мещерского. Серьёзность, государственную основательность придал этому понятию лишь император Александр III, приблизив к трону передовых людей. Это сыграло роковую роль в судьбе его сына — императора Николая II, которого эти самые передовые люди и предали по обычной своей манере, ибо «идея» для них важнее всех иерархических ценностей. Если Бога нет, то позволена всякая фантазия, всякое парение творческой индивидуальности. Как-то так случается у нас в России, что «передовыми», «продвинутыми» по современному словоупотреблению, часто становятся люди без чести и совести. И отчего это так получается, один Бог и знает. У автора этих строк нет ответа на данный вопрос. А к следующему этапу в развитии темы переходить надо.

Итак, Февральская буржуазная революция, на достижения которой ориентируется современная государственная система в России, утвердила-таки на российской почве европейское понятие «гражданин». Но только в Европе из-за этого понятия гордо смотрит на мир обладатель прав, свобод (и обязанностей, как следствие), защищённых в большинстве своём законом, а у нас — робко выглядывает деревенский мужик, которому просто сменили форму рабства. Разница понятная и закономерная, ибо там это результат длительного, то есть культурного, процесса, а у нас — просто грабёж. Как сто лет назад новой элите надоели все эти «божественные порядки» под лозунгом «православие, самодержавие, народность» и она устроила государственный переворот,

так и теперь нуворишам (из высшего комсомольского аппарата) надоела вся эта социалистическая аскеза и лозунги: слава труду, партия — ум, честь и совесть народа,— и они пошли по накатанному пути. И вот здесь, господа, наступает кульминация. Как премудро заметили в своё время греки: нельзя вступить в одну и ту же воду дважды! Те, кто потерял ум, честь и совесть ещё при социализме, решили взять реванш теперь, вычеркнув из российской истории советский период, как ошибку. Их обслуживает ряд идеологов, которые подводят теоретическую базу, уверяя всех, что «можно и нужно повторно вступить в ту же воду» — то есть воду февраля 1917 года, — и тогда, мол, мы построим европейское правовое государство и капитализм с человеческим лицом. Простите, в этом месте важно уточнить вектор предлагаемого нам движения. Всё ж таки нас подталкивают не к Европе, которая как-то сложна для «сверхэлиты», а к Америке, где всё, так сказать, по-нашему, по-простому устроено: деньги — товар, товар — деньги — и никаких проблем! Ну как здесь не полюбить простого русского сверхчеловека, который наперекор всему миру и всей культурной логике взрастил в своей душе за девяностые годы великую мечту об очередном переустройстве одной шестой части света!

А всё-таки наступают времена и сроки и для России. Час пробил. Придётся взрослеть, ибо ни один эксперимент больше на нашей земле не состоится. Некому будет оставить награбленное, да и незачем. Глупо думать, в самом деле, что все глупы и мечтают только о том, чтобы «оказаться достойным» того, что показывают по телевизору. Молодёжь к телевизору уже не припадает, хотя от этого не перестаёт быть беззащитной. Пошлость, глупость и ничтожность всего, что проливается на наши головы с помощью масс медиа, производит прямо противоположный эффект — мы теперь точно знаем, чего не хотим, что есть «зло». А это уже немало! В России зло больше не прозрачно, как во всём мире благодаря сверхчеловекам. Оно здесь действует столь грубо и зримо, что появляется надежда на торжество света. Однако предстоит ещё немало поработать, чтобы эта надежда оправдалась.

Справедливости ради надо сказать, что всё вышеописанное лежит на поверхности и всякий заинтересованный взгляд может это видеть. Неочевидным пока кажется утверждение о том, что русский человек не утратил своего достоинства. Не будем торопиться бить себя в грудь и уверять всех: что-что, а это мы завсегда имеем. Достоинство — лишь иногда качество врождённое, но чаще благоприобретённое и очень, очень подвержено истощению. Сколько источников должны напитать душу достоинством, прежде чем оно станет для человека полноводной рекой жизни!

Чтобы пояснить эту мысль, вернёмся к эволюции понятия «гражданин» в российском социуме. Перехватив власть у передовой аристократии, большевики наполнили это основное понятие иным смыслом. Человек, равный советской власти, стал называться «товарищ», а не равный ей должен был называть сильнейшего — «гражданин начальник». Конечно, было и просто обращение «гражданин» и «гражданка», но и оно имело оттенок начальственного высокомерия по отношению к человеку. «Жизнь по понятиям», как она сложилась за годы великой стройки коммунизма, осталась в кол-

лективном бессознательном нашего народа. Оттого так грубы и жестоки межличностные отношения в нашем социуме. Мы по инерции продолжаем жить как на зоне: подозревая, наушничая, обманывая и предавая. Это наследие ГУЛАГа ещё долго будет нас преследовать, не давая возрасти в полной мере тому человеческому достоинству, без которого не сложатся общественные отношения иного рода. Эти лучшие отношения и характеризуют ту общность людей в социуме, которую мы называем гражданским обществом. И это второе ключевое понятие. Обратите внимание, что это определение несколько расходится с общепринятым. И расходится оно опять же потому, что мы не Европа и никогда ею не станем.

Вспоминаются в этой связи здравые размышления одного «остроумного бюрократа о наших либералах и европейцах», которые приводит Ф. М. Достоевский в своём «Дневнике писателя» в последний год жизни. Напомню их.

А я так пари готов держать в чём угодно: попробуйте, развяжите крылья вашей прекрасной птичке вполне, разрешите ей все возможности, предпишите, например, вашему земству даже формально за номером и со строгостью: «Отселе-де быть тебе самостоятельным, а не бюрократическим журавлём», и поверьте, что все они там, все какие есть журавли, сами собою, ещё пуще запросятся к нам и кончат тем, что станут чиновниками уже вполне, дух наш и образ примут, всё у нас скопируют. Даже выборный мужик к нам запросится, польстит ему это очень. Недаром же два столетия развивались вкусы. И вот вы хотите, чтобы мы, то есть нечто твёрдое и на ногах стоящее, променяли бы самих себя на эту загадку, на эту шараду, на вашего прекрасного журавля?

Да, «выборный мужик» (а по современным реалиям — депутат) так быстро и охотно из «слуги народа» превращается у нас в господина, что и сам того не успевает заметить. В речах его появляются дерзость и насмешка. Он доволен собой, ироничен в отношении всех иных корпораций, кроме той, к которой принадлежит, а в отношении бедствий народных проявляет особую чувствительность, почти сентиментальность — и от этого непременно обещает дать денег (не своих, конечно), чтобы щедрость эта в памяти осталась, чтоб по возможности прослыть благодетелем. И делает он это как истинный представитель своего народа. Это в Европе по их картезианской логике интересы народа перед государством должен профессионал защищать, а у нас «добрый барин», почти свой, кого за щедрость и широту жеста запомнили. Превращается народный депутат в доброго барина скорее интуитивно, ибо только этого от него и ждут. Хотели мы когда-то Европой стать — и всю их бюрократию скопировали один в один. И хоть таким образом, а стали! А вот «марсельезка»-то у нас своя, потому что свобода у нас иначе понимается. Нам свобода нужна абсолютная, какую ни одному депутату нельзя доверить, она даже в части своей не делегируемая. Она в каждом дееспособном гражданине Отечества нашего самостийно присутствует и в защите не нуждается. Поэтому народ наш непутёвое барство депутату прощает при одном условии: чтобы он не какие-то там интересы защищал, а только одну правду. Жажда правды, от прадедов доставшаяся, в народе нашем по-прежнему велика, поэтому и малейший намёк на реальное её

воплощение пробуждает силы. Конечно, политтехнологи научились играть и на этом, но ошибаются они, полагая, что ложь останется незамеченной. Они если и выигрывают, то на минуту, ускоряя крах своей пирамиды, возведённой на лжи. И как, господа, с такой вот национальной особенностью мы можем построить гражданское общество в традиционном европейском смысле?

А может, и не надо вовсе в европейском духе его развивать? Вот в чём вопрос! Потому народ наш и в двадцать первом веке, коли прикажут сверху развивать профсоюзы или там ещё какую инициативу, — обязательно её разовьёт, но именно так, как описал «остроумный бюрократ» конца девятнадцатого века. И неизменность этого положения не просто наталкивает, а прямо-таки припирает нас к одному выводу в отношении национального характера: сверхвесёлой уступчивости. Вот у французов есть просто весёлая уступчивость, но от особой куртуазности проистекающая. А у нас она — уступчивость — качество сверхъестественное: ради высшего смысла, ради братской любви к неразумному угнетателю. И это не домысел. Емеля и Иван-дурак вовсе не хитрую сметливость воплощают, а вот именно эту — сверхвесёлого — уступчивость. И если не понукать русским человеком, не торопить его, а дать вызреть, как зерну, то мы ещё увидим чудеса гражданской инициативы.

А собственно, и ждать-то ничего не надо. Всё уже есть. Надо лишь присмотреться и захотеть увидеть. Мы ещё только первый шаг сделали в направлении русской провинции, а уже посыпались примеры, поражающие своим размахом. Одно только опасение есть в начале пути нашего: как раскрыть характер, образ человека-созидателя, чтобы не навредить ему и его делу. Ведь строить — не ломать: всегда трудно. А тут мы со своими литературными циркулями и линейками. А вдруг кроме зависти это ничего в общественном сознании не вызовет? Как знать, как знать... И всё же попробовать надо, чтобы не герой нашего времени, не передовик производства предстал перед удивлёнными согражданами, а нормальный, здоровый русский человек, каких были тысячи в стародавние времена, на коих держалась наша земля, а на ней и государство. Это — человек-делатель. Как само это слово отличается от других однокоренных слов: делец, деловитый, делопроизводитель и прочие. Этимологически «делатель» восходит к доброделанию, то есть такому делу, двигателем которого является добродетель. Представьте, что этот анахронизм присутствует в нашей современной компьютеризированной жизни не в единичном проявлении, а как типичное явление. Оно существует параллельно глянцево-гламурному миру российской действительности, который кричит о себе, лезет в глаза, ибо как только он перестанет это делать, тотчас и исчезнет. И все увидят воочию, какое это было наваждение. Что весь этот кичливый мир составляли несколько десятков мыльных фигур, надутых шальными деньгами. А реальный, огромный мир продолжает жить по другим законам — не всегда бедно, но всегда трудно, неброско. Бытие этого мира невозможно поставить под сомнение — так всё в нём пронизано личным опытом, личной ответственностью. Нам остаётся лишь свидетельствовать об этом бытие.